

Переписка из двух кварталов

Дорогой Андрей! Мне хочется начать с того, что захватило в Вашей статье "Сорок дней или сорок лет?" ("Новый мир", 1999, № 5), – с анализа глубинных корней нашего национального несчастья. Там можно выписывать целые страницы. Ограничусь немногим:

"Русская "нравственная пружина" вся изоржавела к началу XX века, и потому так легко надломилась она в годы испытаний. Честные и трезво мыслящие люди видели это вполне явственно: "Влияние Церкви на народные массы все слабело и слабело, авторитет духовенства падал... Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва – холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих. Пример о. Иоанна Кронштадтского был у нас исключением... как-то все у нас "опреснилось" или, по выражению Спасителя, соль в нас потеряла свою силу, мы перестали быть "солью земли и светом мира". Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели сами?... И приходится еще удивляться, как верующие держались в храмах и с нами... хотя вокруг все уже стыло, деревенело" (Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., 1994, стр. 122, 135). Этой оценке митрополита Вениамина... можно найти бесконечное число параллелей... И это "одеревенение" Церкви проявилось немедленно в обществе после обрушения царской власти, поддерживавшей официоз православия.

"Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды, – писал в "Очерках русской смуты" генерал А. И. Деникин, – один из полков 4-й стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиций походную церковь. Первые недели революции... Демагог поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм – это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй офицер, что начальство было терроризировано и молчало. Но почему 2 – 3 тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни? Как бы то ни было, в числе моральных факторов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов" (Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 1991, стр. 79 – 80).

По данным военного духовенства, доля солдат православного вероисповедания, участвовавших в таинствах исповеди и причастия, сократилась после февраля 1917 года примерно в десять раз, а после октября 1917 года еще в десять раз. То есть активно и сознательно верующим в русском обществе оказался в момент революции приблизительно один человек из ста.

Есть множество свидетельств широкой распространенности в русском обществе эпохи революции не просто равнодушия, а ненависти к вере и Церкви. Эта ненависть не насаждалась большевиками – она была разлита в обществе, и большевики победили и вошли в силу потому, что их воззрения, методы и цели были вполне созвучны настроениям большинства русских людей".

Я читал статью с чувством глубокого согласия. Зацепило одно место – об Анне Карениной; отмахнулся от него: и на солнце есть пятна. Но на последних страницах Ваша мысль как-то вдруг вышла из глубины на плоскость, и, пытаясь понять, как это получилось, я вернулся к первой зацепке: "Трагедия Анны Карениной не в том, что от дури она полезла под поезд, вместо того чтобы спокойно ехать к Вронскому или затеять другую интрижку. Трагедия Анны в том, что она сознавала неотвратимость страшного воздаяния за измену мужу, но страсть влекла ее к любовнику, а противостоять страсти не хватало волевых сил". Вдумайтесь, Андрей, – разве слова "от дури", "интрижка" здесь уместны? Интрижки были у княгини Бетси, и свет глядел на них сквозь пальцы; а у Анны – внезапное пробуждение женского сердца. Порыв всего существа навстречу любви. Называть это интрижкой – кощунство против духа культуры, в котором всегда есть нечто от

Святого Духа, даже очень далеко от Церкви. Тут против Вас три тысячелетия поэзии, все три Федры – Еврипида, Расина и Цветаевой; и Мандельштам, упоминавший Федру в своих стихах; и Достоевский, восхищавшийся Федрой (прочтите его письмо брату Михаилу)...

Данте помещает Франческу да Римини в ад, но падает в обморок после ее рассказа. Даже в средние века поэт не мог полностью согласиться со священником. И я думаю, что священник, следующий букве запретительных заповедей, не всегда прав. Любовь к ближнему как к самому себе (и даже больше, чем к себе) может прийти неожиданно, нарушая правила, прийти вместе с чувственным порывом, как у Мити Карамазова, – и все же это любовь, а значит, нечто более высокое, чем вялое соблюдение запретов.

Запретительные заповеди менее важны, чем заповедь о любви, без которой все теряет цену. Думаю, что тот, кто горел огнем личной страсти, ближе к белому огню Божьей любви, чем ни разу не вспыхнувший. И есть обстоятельства, в которых грех нарушения запрета так же простителен, как убийство на войне (когда война сама по себе не преступна), – и благородный грешник становится героем поэзии.

Это все относится и к Анне Карениной, и к Анне Тимиревой, подруге Колчака, слова которой Вы приводите на той же странице: "Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата", – не жалела о порыве любви. Не думаю, что этот порыв, примерно одинаковый у Франчески да Римини и Анны Тимиревой, как-то повлиял на политические ошибки Колчака, за которые действительно пришлось расплачиваться.

Пожалуй, суд над стихией любви – модель Вашего суда над стихией революции. Вы делаете ошибку, прямо противоположную ошибке поэтов, рвавшихся навстречу буре: совершенно отрицаете поэзию стихии; просто нет в вашей концепции стихии, противостоящей священнику, как гимн Вальсингама в пушкинском "Пире во время чумы". Все сводится к простому контрасту добра и зла, доведенных до пустоты абстрактных принципов.

Белые, если можно так сказать, онтологически белые, красные в крови с макушки до пят, и только слепой может сделать ложный выбор. Вы пишете:

"Конечно, не все, далеко не все русские люди сделались богоборцами и законопреступниками. Но значительная часть стала, а еще большая, проявив преступную теплохладность и трусость, пыталась занять нейтральную позицию или "встать над схваткой"". Приводится пример офицеров, гулявших по улицам Ростова и Новочеркасска и кутивших по ресторанам, когда Добровольческая армия вела тяжелые бои. "Их трусость была жестоко наказана. Все, кто не умел хорошо укрыться, после отхода армии из Ростова были с величайшими издевательствами убиты... В схватке, сжигавшей Россию в 1917 – 1922 годах, не могло быть нейтральных. Все акценты, все цели были тогда сформулированы предельно ясно. На одном – безумие богоборчества, "пожар до небес", позор Брестского мира, стакан человеческой крови (выпитый палачом. – Г. П.) и глумление над всеми вековыми установлениями человечества... На другом – вера или хотя бы почтение к вере и закону отцов; любовь к Отечеству; самопожертвование..."

Андрей, куда Вы подевали греховность старого мира, порыв совести против привычного зла, против бессмысленной бойни, затеянной тремя христианскими империями для решения великого вопроса – какая из них раньше развалится, бойни, втянувшей миллионы мужчин в ремесло убийцы... Куда подевался вихрь волошинского Северо-востока, срывающий людей с места, опрокидывавший их представления о добре и зле? Воля ваша, я не могу отдать Вам ни Волошина, ни Короленко. Я признаю, что Блок заслушался музыки стихий и сдался на милость демоническим вихрям, но в подвижниках милосердия, стоявших над схваткой, была высокая трезвость. Они стояли именно над схваткой, а не под схваткой, как трусы и как миллионы крестьян, просто не понимавших, что происходит. Я думаю, что так же оставались над схваткой и первые христиане, когда зелоты беззаветно отдавали свою жизнь в войне с развратным и богоборческим Римом. Я

думаю, что разница между Волошиным и обывателем даже больше, чем между Федрой и шлюхой. Вас захватила героика Белого движения, и вы забыли о двух вещах: была и красная героика; а поверх всякой героики – различие между героем и подвижником, о котором писал Сергей Булгаков (Вы его ни разу не вспомнили).

Поверьте участнику войны: ни одно сражение не было выиграно террором. Террор – вспомогательное средство в бою, решает воодушевление. У красных были великолепные ораторы, верившие в рай на земле и умевшие увлечь мобилизованных крестьян призраком рая. Мне очень ярко рассказывал об этом М. Н. Лупанов, сосед по лагерному барраку. К 1950 году Лупанов стал антисоветчиком, но в 1920-м, после речей Троцкого или Зиновьева, он готов был штурмовать небо. И не он один, а весь полк. Не только белые – и красные беззаветно отдавали свою жизнь. Одни – за Русь святую, другие – за власть Советов, за мир без нищих и калек. А потом герои сатанели и врагов расстреливали или вешали. Это общий грех большинства героев. В том числе героев Вьетнама и Чечни. В годы советской власти, когда наперекор этой власти провозглашался тост "За наших мальчиков во Вьетнаме!", я отказывался пить.

Вы сами признаете, что "в довершение к красному был еще и белый террор. И если командующие освободительными армиями старались действовать в рамках российского законодательства, то многие из союзных белых атаманов... вели себя немногим лучше красных, разве что не с таким размахом и планомерностью".

К сожалению, не только атаманы. А. В. Пешехонов, бывший министр временного правительства (а до того – сотрудник Короленко по "Русскому богатству"), свидетельствует: "О, конечно, большевики побили рекорд и количеством жестокостей намного превосходили деникинцев. Но кое в чем и деникинцы перещегооляли большевиков... Лично мне самые ужасные ощущения пришлось пережить именно у деникинцев. Никогда не забуду, как в Ростове метался я между повешенными. На первого из них я, помню, наткнулся на углу Б. Садовой и Б. Проспекта. Сначала я даже не сообразил, в чем дело; вижу, небольшая кучка окружила и стоит около человека, прислонившегося к дереву. Этот человек показался мне необыкновенно высоким. Подхожу, а у него ноги на поларшина не достают до земли, и не на них он держится, а на веревке, привязанной к суку... Я шархнулся в сторону, вскочил в трамвай и уже на нем доехал до вокзала, куда шел. О ужас! И тут виселица: повешена женщина. И к ней пришпилен ярлык с надписью "шпионка". У того – опорки на ногах, у этой чуть не новенькие башмачки...

Бросаюсь обратно в трамвай и еду в нем до Нахичевани. Выхожу на площадь – и здесь импровизированная виселица! По всему городу и пригороду на страх приближающимся врагам – в этот день властями повешены были люди, и мы должны были жить и ходить среди них, пока архиерей не упросил избавить нас от этой муки. Ради праздника Рождества Христова жителям Ростова была дана амнистия, и трупы были убраны... Я не стал бы писать об этом, если бы этот случай был в своем роде единственным. Но ведь публичные казни – в порядке белого террора – практиковались и в других местах... А погромы! А резня в городах, отбитых у большевиков, хотя бы, например, в Майкопе!" (Цит. по кн.: Айхенвальд Ю. А. Дон Кихот на русской почве. Ч. 2. М., 1996, стр. 141 – 142).

Я старый человек и сталкивался с живыми свидетелями белого террора. Петр Григорьевич Григоренко рассказывал мне (а потом описал в своих воспоминаниях), как офицерский полк Дроздовского на своем пути из Румынии на Дон расстреливал без суда и следствия все Советы. Хотя в этих Советах иногда не было ни одного большевика. Я вспоминал это, когда девятилетний мальчик, стоя у елки, пел песню дроздовцев. В девять лет герои захватывают больше подвижников. Да и потом героика захватывает, и меня самого захватила. А после войны мне пришлось сидеть в "Бутырках" и играть в шашки с человеком, пытавшимся восстановить школу при немцах. Как-то я посмотрел партнеру в глаза и спросил, почему он сделал свой выбор. Он ответил: "Был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог". Я кивнул головой, и мы продолжили партию.

В 1941 – 1945 годах позиции над схваткой просто не было. Волошина или Короленко немедленно препроводили бы в лагерь при первой попытке протеста. Оставалось только воевать против Гитлера – за Сталина – или против Сталина за Гитлера. В Гражданскую войну степень свободы была большей. Меншевики протестовали против расстрела великих князей, адмирала графа Щастного. Патриарх призывал христиан не участвовать в погромах. Была возможность протестовать и против белого террора; и то, что Церковь эту возможность почти не использовала, – ее грех. Можно было прятать красных от белых и белых от красных, как это делал Волошин. Я не отрицаю героики. Но в героике Гражданской войны было слишком много ненависти, "пены на губах". Волошин мне ближе.

Вы пишете, что генерал Деникин пытался ограничить белый террор. А Колчак? Что он сделал, когда его офицеры, при государственном перевороте, попросту вырезали социалистических депутатов Учредительного собрания? Насколько мне известно – ничего. Между тем эта расправа сыграла едва ли не роковую роль в ходе Гражданской войны. Эсеры ответили на белый террор, заключив перемирие с большевиками, и части, находившиеся под эсеровским командованием, открыли красный фронт. А когда Колчак попытался провести мобилизацию, крестьяне (избиратели эсеров) мобилизацию сорвали. И с Волги до Тихого океана покатился шарaban отступления. "На белом снеге волкам приманка: два офицера, консервов банка. Катись, катись, мой шарaban! Не будет денег – тебя продам".

Я готов согласиться, что Колчак был героем. Но Бог знает что делалось в голове этого героя и что бы он наделал, добравшись до столиц. Всеволод Иванов, служивший наборщиком в омской газете, слышал (в обрывке разговора), как Верховный обещал непременно повесить Александра Блока. Мне об этом рассказывал сын Всеволода, Вячеслав. Даже кадеты были для Колчака недопустимо левыми. "По воспоминаниям Г. К. Гинса, убежденного "колчакиста" и министра Верховного правителя, среди битв и государственных дел особенно занимали (Верховного. – Г. П.) "Протоколы сионских мудрецов". Ими он прямо зачитывался" (Айхенвальд Ю. А. Указ. соч., стр. 136). Не думаю, что "Протоколы..." – лучшее чтение, чем революционные брошюры.

Героев революции я имел случай наблюдать живыми, в одной тесной камере, где нас набили как сельдей в бочке. Это были старики, отбывшие по несколько сроков и уцелевшие. В конце 40-х годов от них (и от меня) очищали Москву. Эсеров, анархистов, дашнаков съели разные идеи, но бросалась в глаза какая-то общность. Это были рыцари протеста. Некоторые были так возмущены несправедливым общественным устройством, что бросали бомбы. Отвращение ко всякому насилию пришло к интеллигенции позже, около 1960 года. Я сам участник этого перелома и хорошо его помню. А в начале XX века даже очень хорошие люди, борцы за справедливость могли стать террористами, оставаясь хорошими людьми... В 70-е годы я был близок к диссидентам и почувствовал в них что-то общее с моими бывшими сокамерниками.

Дореволюционных большевиков в камере не было. Коммунисты, вступившие в победившую партию, были другой породы. Идеинность (в смысле верности принципам) им заменяла верность линии партии, куда бы она ни гнулась. Но впоследствии я познакомился со старой большевичкой и под суровой внешностью узнал ту же романтику подвига и жертвы. ""Гитанджали" Тагора, – рассказывала она мне, – я в 16 лет готова была носить на груди". – "Почему же Вы не сохранили книгу?" – "Пришли ходоки из деревни, сказали, что нет книг, я отдала им всю библиотеку. "Зачем в деревне Тагор?" Разве я могла так рассуждать? Революция – значит, все общее. Все мои друзья погибли на фронтах..."

В революцию Оля Шатуновская убежала босиком (отец туфли запер). Турки, захватив Баку, приговорили ее к повешению; мусаватистский министр, которому Шаумян за несколько месяцев до этого спас жизнь, заменил казнь высылкой. Оля несколько раз оказывалась на краю гибели – и снова шла на отчаянный риск. Для моего покойного тестя, тоже бакинца, она была живой легендой. Потом партия приучила к дисциплине, но не переменяла ее ума и сердца. Как почти все большевики с необщим выражением лица, попала под Большой террор. С Колымы и послеколымской ссылки вернулась убежденной противницей сталинизма. И тут легенда ее жизни

получила неожиданное продолжение: Хрущев назначил ее в комиссию Партийного Контроля проводить реабилитацию, а потом расследовать убийство Кирова. В качестве члена так называемой комиссии Шверника (где, кроме нее, никто не вел фактической работы) она официально запросила КГБ о масштабах Большого террора и получила официальную справку, что с 1 января 1935 года по 1 июля 1941 года было арестовано 19 840 000 человек и 7 000 000 расстреляно. Хрущев не решился опубликовать чудовищные цифры и положил под сукно дело об убийстве (помнится, в 64-х томах), по которому Ольга Григорьевна допросила тысячу человек и восстановила картину сталинской провокации до мелочей. За трусость она глубоко презирала Хрущева и, когда после отставки он просился в гости, отказалась его принять. Последним делом ее жизни была публикация статьи (кажется, в "Известиях"), где она сообщала, что все решающие документы дела Кирова и справка о числе жертв Большого террора были изъяты, уничтожены и подменены другими данными, на которые сегодня опирается Г. А. Зюганов. Шатуновская умерла в 1990 году, восьмидесяти девяти лет, до конца сохраняя ясность ума. Цифру 19 840 000 я слышал от нее несколько раз. Рассказы ее детям и внукам записаны ими и находятся в Интернете. Облик Ольги Григорьевны я пытался передать в одном из своих эссе ("Октябрь", 1996, No 12).

Вы скажете – единичный случай. Да, потому что таких людей Сталин целенаправленно истреблял. И все же в диссидентское движение влилась "коммунистическая фракция": Костерин, Григоренко, Лерт. Для них путь в диссидентство был так же органичен, как путь в революцию. С Лерт я был хорошо знаком, с Петром Григорьевичем дружен и храню светлую память о нем. Он стал коммунистом, как и многие на Юге Украины, после террора дроздовцев, потом перестал быть коммунистом, но он никогда не переставал быть самим собой – начиная с прыжка из окна второго этажа в кучку учеников, избивавших малыша, кончая ударом ребром ладони по кадыку санитара, избивавшего душевнобольных в психушке. Тоталитарной штамповке поддавались люди без Божьей печати в душе. У кого была нравственная харизма, тот никогда ее не терял. И всегда находились Дон Кихоты, боровшиеся за соблюдение хоть каких-то законов. Об этом стоит почитать в книге воспоминаний Петра Григорьевича.

Вы подчеркиваете, что масштабы красного террора были чудовищными и несравнимы с белым террором. Это подтверждают все, в том числе Григоренко, который при этом задает вопрос: почему его односельчане, испытавшие и то, и другое, с красным террором помирились, а белый осуждали? Ответа он не знал. Я думаю, что однозначного ответа и нет. Но один из ключей к разгадке – революционная риторика, увлекавшая Россию. Из противников большевизма ею владели эсеры. К несчастью, белые с ними поссорились, а сами они умели разговаривать только со своими, с людьми своего круга. Слов, доступных мужикам, способных увлечь их, – не нашли. Разве только то, что Петя Григоренко наблюдал в городке, где учился: на другой день после вступления дроздовцев в Ногайск город был оклеен плакатами: "Бей жидов, спасай Россию". Но на Юго-Восточной Украине этот призыв не был подхвачен. Семена ненависти дали здесь другие всходы: анархии и большевизма.

Красные выиграли войну, увлекая народ своими иллюзиями, а иногда прямо обманывая народ. Белые ее проиграли, просто не считаясь с народом, с крестьянством, составлявшим подавляющее большинство народа. Белые презирали как невежество крестьянские представления о земельной собственности, восходившие к феодальным порядкам (мы ваши, а земля наша). Белые презирали волю крестьян, избравших в Учредительное собрание эсеров, а не либеральных профессоров и монархических генералов. Колчак проиграл войну не из-за любви к Анне Тимиревой, а из-за пены ненависти на губах, из-за разгона Комитета членов Учредительного собрания, из-за неспособности к компромиссу всех антибольшевистских сил. Из-за того, что не расстрелял по крайней мере зачинщиков расправы над депутатами, избранниками народа...

Мир праху героев, белых и красных. Правильно поступил Франко, похоронив всех погибших в одну долину и водрузив над ними один большой крест. Мертвые сраму не имут. Но путь героев – не мой путь.

Григорий ПОМЕРАНЦ.

Москва – Хамовники.

Дорогой Григорий Соломонович! Ваш анализ статьи "Сорок дней или сорок лет?" весьма взволновал меня. Статья эта действительно посвящена размышлению над причинами "нашего национального несчастья" и о возможностях и путях преодоления нынешней бедственности, которая, на мой взгляд, напрямую уходит в 1917 год. Во многом, особенно в анализе болезней, приведших к революции, мы с Вами согласны, но есть и пункт разномыслия, тем более важный, что он касается нравственной оценки прошлого и той позиции относительно революции и советской эпохи, которую стоило бы занять сейчас обществу, дабы исцелиться. В том, что ныне российское общество глубоко больно, мало кто сомневается, но каково имя болезни, от которой мы страдаем? На мой взгляд, предельно обобщая, – это бессилие перед злом и согласие на зло.

В выступлении при вручении Большой Ломоносовской медали РАН в начале июня 1999 года А. И. Солженицын охарактеризовал нынешнее наше состояние как "хаос, безвозбранно усугубляемый высокопоставленным грабительством", и добавил: "В условиях уникального в человеческой истории пиратского государства под демократическим флагом, когда заботы власти – лишь о самой власти, а не о стране и населяющем ее народе; когда национальное богатство ушло на обогащение правящей олигархии... в этих условиях трудно взяться за утешительный прогноз для России"1. Да и Ваша, Григорий Соломонович, недавняя характеристика состояния России сходна: "Наши реформы начались с полного непонимания духовных параметров социального сдвига... А то, что восстановление нравственных норм связано с восстановлением священной иерархии целей и ценностей, до сих пор мало кто понимает. Реформы начались с призыва обогащаться кто как может – без понимания, к чему это может привести при очень расшатанном уважении к чужой собственности. Итогом стало разграбление народных богатств"2.

Но что мешает обществу, миллионам полуголодных и практически нищих людей, получающих символические зарплаты, на которые новые властители России не смогли бы прожить и нескольких часов, – что мешает им объединиться в настоящие политические движения, сыскать и выдвинуть нравственных и порядочных вождей, добиться действительного местного самоуправления, контроля над деятельностью чиновников и олигархов, над городскими, губернскими и провинциальными властями, а затем и сменить эти власти? Может быть, жестокое принуждение к повиновению? – Нет. Когда-то мощный, аппарат подавления сейчас крайне слаб, да к тому же практически почти не применяется. Но почему не подавляемый никем извне народ безмолвствует при явном разграблении своего дома? Я вижу ответ только в одном – потому что он не только жертва, но и грабитель. Потому что чиновный вор, олигарх, бандит стали для большинства не врагами, но объектами зависти и желания уподобления.

Наши девушки мечтают выйти замуж за богатого, нимало не интересуясь, как заработано это богатство, наши юноши ищут место поденежной и, как правило, не поднимают вопросов, на что используется их труд работодателями. Обслуживание пиратов, бандитов и преступников считается не постыдной сделкой с дьяволом, но желанной работой, потому что за нее платят деньги, не виданные теми, кто не сумел приблизиться к властно-криминальной кормушке. Мы перестали отличать добро от зла, нравственное от безнравственного, заменив эти пары иными: "выгодно – невыгодно"; "приятно – неприятно", и потому мы, вместо того чтобы сопротивляться злу, избираем для себя путь соучастия в нем, так как не видим больше в зле зла.

В Вашем письме разбор моей статьи начинается с "зацепки" – Анны Карениной. Здесь меня отчасти подвели выразительные особенности моего языка. Я вовсе не хотел сказать, что отношения Анны с графом Вронским были для нее "интрижкой" или что она бросилась под поезд "от дури". Произнося цитированную Вами фразу, я хотел как раз показать неверность таких вульгарных интерпретаций и подвести читателя к пониманию истинной трагедии Анны: "Трагедия Анны в том, что она сознавала неотвратимость страшного воздаяния за измену мужу, но страсть влекла ее к любовнику,

а противостать страсти не хватало волевых сил". То есть Анна понимала: то, что творит она, есть зло, влекущее за собой неотвратимое возмездие Божие, но не творить этого зла она не могла. И в результате – гибель.

Помните, как мастерски описал Толстой путь Анны на вокзал в день трагедии? "Борьба за существование и ненависть – одно, что связывает людей" стало в эти часы ее *idée fixe*. Все встречные казались ей отвратительными, уродливыми и затевающими какое-то гадкое дело. Это – типичная черта демонического одержания. И причина одержания ясна: Анна жила во грехе, бросив мужа, совершив клятвопреступление, постоянно снедаемая подозрениями и муками ревности к Вронскому. Из такого состояния души есть два выхода: или глубокое раскаяние в содеянном и возненавидение греха, или – смерть. Раскаяние пришло, но в момент смерти. Последние слова Анны, уже под колесами вагона: "Господи, прости мне всё!"

Вы полагаете чувство Анны к Вронскому "внезапным пробуждением женского сердца", просто чувством, прекрасным самим по себе. Но Толстой не случайно ведет в романе два женских сердца – Анны и Кити. Сердце Кити пробуждается Левиным на добро и жизнь. Сердце Анны – графом Вронским – на зло и смерть. И не случайно в их последней встрече Кити думает об Анне с любовью, а Анна о Кити – с ненавистью. Любовь бывает разная. Демоническая любовь эгоистична до самоистребления в ненависти, божественная любовь – жертвенна, до отдания своей жизни ради другого. "Моя любовь всё делается страстнее и себялюбивее", – думает Анна по дороге на вокзал. Она вовсе не жертвует собой ради любимого, она желает самой своей смертью досадить Вронскому и избавиться от муки греха. "Туда! – говорила она себе, глядя в тень вагона на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, – туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя". В таком чувстве нет ничего от "белого огня Божьей любви". Если уж на манер Цветаевой цветить огни, то это – черное пламя ада.

Желая подтвердить божественный источник любви Анны, Вы призываете имя другой одержимой страстью женщины, вспоминая Федру у Еврипида и Расина. Но две эти Федры – очень разные героини. "Федра" Расина – утверждение нравственного закона, о чем в предуведомлении пишет сам трагик: "Страсти изображаются с единственной целью показать, какое они порождают смятение, а порок рисуется красками, которые позволяют тотчас распознать и возненавидеть его уродство. Собственно, это и есть та цель, которую должен ставить перед собой каждый, кто творит для театра..." Федра Расина – жертва демонической страсти к пасынку, насланной на нее разгневанной Афродитой. Она предпочитает смерть позору и умирает не ради любви и любимого, но от стыда за свою любовь и желая хотя бы смертью победить ее. "Позор моей любви, позор моей измены меня преследует... Смерть! Вот прибежище от всех моих несчастий".

Еврипид, однако, тоньше Расина в изображении действительных чувств, их мотивов и последствий. Не случайно древние единогласно именовали его "философом на сцене". И его Федра борется с "внезапным пробуждением женского сердца" всеми доступными средствами, а отнюдь не следует за его порывами, как советует кормилица. Федра свое чувство полагает ужасным, а не прекрасным. "Несчастливая! Что я, что сделала я? / Где разум? Где стыд мой? Увы мне! Проклятье! / Злой демон меня поразил... Вне себя я / Была... бесновалась... Увы мне! Увы!" Если уж нельзя победить страсть, то хотя бы не выдать ее и умереть: "Я думала потом, что пыл безумный / Осилю добродетелью... И вот / Когда ни тайна, ни борьба к победе / Не привели меня – осталась смерть. / И это лучший выход.